

«ТОТ НОЯБРЬ ВЕРНЕТСЯ ЗА КАЖДЫМ».

ХРОНИКИ ВОСХОД

«ТЫ... ТЫ ВСЕ РАВНО БЫ УМЕР ОТ ГОЛОДА...
СЛЫШИШЬ МЕНЯ? ТАМ НЕ БЫЛО ПТИЦ... ТРИ
НЕДЕЛИ ОДНА ХВОЯ, КОРА И ЛЕД... МЫ ПРОСТО
ХОТЕЛИ ЖИТЬ... МЫ ВСЕ ПРОСТО... ХОТЕЛИ...
ЖИТЬ...»

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

БАУМ АНДРЕЙ

Андрей Баум

Хроники Восход

<https://litres.ru/74176227>

SelfPub; 2026

Аннотация

Шесть выживших в голодном аду скрываются по миру. Но грех Того Ноября уже возвращается за каждым.

Они выжили в ледяном аду Сибири и разъехались по миру. От Антарктиды до Токио они прячут свой страшный секрет, но расплата за Тот Ноябрь настигнет каждого. Безжалостно и до конца.

От автора: Эта история родилась из ледяного страха перед тем, на что способен человек, поставленный на грань выживания. Холодная ночь, голод и один страшный выбор, который навсегда свяжет шестерых выживших. От прошлого невозможно сбежать — ни в лед Антарктиды, ни в неон Токио, ни в грязь Тверской деревни. Грех Того Ноября, как некротический токсин, уже в крови каждого из них, и расплата неизбежна. Это рассказ о долге, который настигнет каждого грешника.

Содержание

Рассказ 1. «Белое безмолвие»	4
Глава 2. Сигнал из темноты	16
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Андрей Баум

Хроники Восход

Рассказ 1. «Белое безмолвие»

Глава 1. Рутинa вечной ночи

Здесь, на семьдесят восьмом градусе северной широты, время не текло. Оно замерзло. Превращалось в тяжелый, монолитный пласт серого льда, неотличимый от торосов Исфьорда, сковавших побережье. Полярная ночь на Шпицбергене не имела ничего общего с туманным полумраком питерских белых ночей, когда небо над Невой светится болезненным, лиловым цветом, или с уютным, бархатным сумраком средней полосы, где в четыре часа вечера уже горят фонари, но в окнах еще виден отблеск телевизора. Это была абсолютная, хищная, первобытная тьма. В октябре она неохотно выползала из скалистых расселин архипелага, наваливалась на побережье миллиардами тонн черного вакуума и отпускала свою добычу только к марту.

Эта тьма обладала физическим весом. Она давила на барабанные перепонки, забивалась под веки, лезла в рот с горьким, едва уловимым привкусом ржавого железа и застояв-

шегоса дизельного выхлопа. Если долго всматриваться в нее, начинало казаться, что у темноты есть лицо — огромное, слепое лицо голодного бога, терпеливо ждущего, пока у тебя кончатся батарейки в фонарике. Здесь она приходила с севера, из-за Полюса, из той точки, где компасная стрелка сходит с ума и начинает крутиться, как обезумевшая.

Научно-исследовательская станция «Баренц-2» представляла собой три приземистых, угловатых модуля, обшитых грязно-зелеными композитными панелями, которые за пятнадцать лет эксплуатации покрылись слоем копоти и ледяной крошки, превратившись в нечто среднее между подводной лодкой и гробом. Со стороны, если смотреть сквозь летящую горизонтально снежную крупу, они походили на три заброшенных морских контейнера, которые какой-то пьяный великан в спешке швырнул на каменистый берег, прямо к подножию сползающего ледника. Между модулями были проложены закрытые гофрированные галереи-переходы — узкие, гулкие стальные «кишки», похожие на кишечник гигантского животного. По ним можно было перемещаться из жилого блока в рубку связи или дизельную, не рискуя обморозить легкие при штормовом ветре, который здесь нередко разгонялся до безумных тридцати метров в секунду. Внутри этих переходов всегда пахло обледеневшим железом, резиновыми уплотнителями и вечным, неистребимым страхом перед тем, что внешняя гермодверь однажды не выдержит натиска, и арктический воздух ворвется внутрь, чтобы за-

брать всё живое.

Кирилл стоял у узкого трехслойного иллюминатора в кают-компании жилого модуля. Его пальцы, тонкие и неестественно бледные, до побеления суставов сжимали тяжелую керамическую кружку с остывшим растворимым кофе — дешевым, «Якобс», который закупали оптом в Мурманске и который на вкус напоминал жженую резину, разведенную в грязной воде. За толстым стеклом не было видно ничего, кроме плотного, нескончаемого шлейфа сухой ледяной пыли, летящей в луче мощного мачтового прожектора. Желтый луч безнадежно пытался разрезать арктический мрак, но его свет лишь вяз в белой круговерти, создавая удушающую иллюзию того, что станция оторвалась от земли и несется куда-то сквозь космическую пустоту, в самую пасть преисподней.

Кириллу было двадцать девять лет, но когда он случайно бросал взгляд на свое отражение в мутном зеркале над раковиной, он видел человека без возраста. Или, скорее, человека, который уже прожил свою настоящую жизнь и теперь просто donaшивал чужую, пустую оболочку, как старую шинель, снятую с мертвеца. Бледная, почти прозрачная кожа, сквозь которую синевой просвечивали вены на висках; глубокие, темные впадины глазниц от вечной, изнуряющей бессонницы; жесткая, неухоженная щетина, придавшая его лицу выражение затравленного бродяги. Его взгляд был пустым. Это был тот самый взгляд, который часто встречал-

ся у людей, заглянувших за изнанку привычного мира — взгляд на две тысячи метров, устремленный сквозь предметы, сквозь людей, сквозь саму реальность, прямо туда, где на дне памяти копошились черные черви прошлого.

Он приехал на Шпицберген три года назад, осознанно выбрав самый изолированный, самый глухой и паршивый контракт из всех, что предлагал институт метеорологии. Ему платили копейки — тридцать тысяч в месяц, с учетом полярных надбавок, и то с задержками. Но Кириллу было плевать на деньги. Здесь, среди сотен километров вечной мерзлоты и ледяного безмолвия, действовало главное, негласное правило, ради которого он пересек половину земного шара: здесь не было лишних людей. Здесь вообще не было людей, кроме одного-единственного напарника. И, что являлось для Кирилла самым важным, самым сокровенным условием его хрупкого душевного спокойствия — здесь еда не была тем, за что нужно бороться. Она была скучной, консервированной, расфасованной по коробкам рутиной. Она приходила в герметичных упаковках, с этикетками, датами изготовления и сроками годности.

Но именно эта рутина сейчас трещала по швам.

Внутри «Баренц-2» медленно, но верно разрастался невидимый нарыв. Отношения между двумя полярниками, запертыми в консервной банке посреди полярной ночи, натянулись до предела, превратившись в звенящую стальную струну, готовую лопнуть от малейшего шороха. Причиной

тому была жесточайшая сенсорная депривация — бич всех полярных зимовок, та самая штука, из-за которой на станциях «Северный полюс» сходят с ума, начинают стрелять в товарищей или просто выходят в буран без одежды и идут в темноту, пока не упадут от истощения или холода. Когда вокруг тебя месяцами нет ничего, кроме черного неба, белого снега и мертвого гула дизельного генератора, человеческий мозг начинает дичать. Он теряет ориентиры. Звуки становятся громче, тени — длиннее, а чужие привычки превращаются в личные оскорбления. Ты начинаешь слышать, как напарник дышит. Как он глотает. Как у него скрипят суставы. И это сводит с ума быстрее, чем любая изоляция.

Напарник Кирилла, Семеныч, был полной его противоположностью. Это был грузный, массивный старик за шестьдесят, с кустистыми сивыми бровями, из-под которых на мир смотрели маленькие, хитрые и злые глазки, похожие на два черных изюма в тесте. Его лицо, выветренное и облупленное десятилетиями работы на Крайнем Севере, напоминало кусок старой дубленой подошвы — такое же жесткое, морщинистое и неспособное чувствовать боль. Семеныч был классическим ворчливым полярником старой закалки — бесцеремонным, шумным, любящим давить своим ветеранским авторитетом и презиравшим любую слабость. Он зимовал здесь тридцать лет, пережил четыре инфаркта, две операции по удалению обмороженных пальцев и одну — по удалению аппендицита, которую ему делал сам врач станции, пока тот

не спился и не повесился в дизельной. Семеныч знал про Арктику всё: как вести себя при медведе, как чинить генератор в сорокаградусный мороз, как не сойти с ума от темноты. И он презирал Кирилла за то, что тот был слаб. За то, что тот не умел материться так, чтобы стекла дребезжали. За то, что тот прятал глаза.

Семеныч сидел за колченогим столом, привинченным к полу кают-компаний, и с нарочитым, чавкающим звуком ел из жестяной банки тушенку — «Говядину отборную», первый сорт, которую он берег для особых случаев. Этот звук — шуршание ложки по металлическому дну, чавканье, тяжелое сопение, громкое отрывивание — заполнял всю комнату, заставляя Кирилла внутренне сжиматься в тугой, болезненный узел. Каждое движение старика казалось Кириллу спланированной провокацией. Каждое чавканье — личным оскорблением. Каждое сопение — насмешкой над его слабостью.

— Чего ты там застыл у окна, Крупа? — хрипло проворчал Семеныч, не поднимая головы от банки. Он с самого первого дня переименовал фамилию Кирилла — Крупнов — в это короткое, колющее прозвище, и в его устах оно всегда звучало как издевка, как плевок в спину. — Опять свою темноту караулишь? Насквозь ведь стекло прожжешь своим взглядом-то. Иди жрать, остынет всё. И так на человека не похож стал — кожа да кости, краше в гроб кладут. Ветер дунет — ты и полетел.

Кирилл не обернулся. Он продолжал смотреть в метель,

чувствуя, как внутри него поднимается знакомая, горячая волна тошноты. Тошнота эта была не физической — желудок его был пуст уже третий день. Это была тошнота психологическая, та самая, что приходила каждый раз, когда кто-то при нем начинал есть. Особенно — мясо. Особенно — "вслух".

— Я не хочу есть, Семеныч, — тихо ответил он. Его собственный голос показался ему плоским и чужим, словно доносился из глубокого колодца, со дна которого смотрело вверх чье-то мертвое лицо. — Кофе допью и пойду журналы заполню.

— Не хочет он... — Семеныч со стуком швырнул ложку на стол, так что она подпрыгнула и упала на линолеум. — Тьфу на тебя, смотреть тошно! Ты скоро от ветра шататься начнешь. Из-за твоих диет мне потом твою тушу на себе таскать, если у метеомачты штормом прижмет? Жрать надо, парень. На Севере без сала в брюхе — ты труп через два часа. Я тебе как врач говорю. — Он усмехнулся своей шутке, и эта усмешка была хуже любого оскорбления.

Старик поднялся, тяжело шаркая ногами по линолеуму, подошел к плите, взял большую эмалированную кастрюлю, в которой плавали остатки утреннего жирного супа — густого, с плавающими кусками картошки и какими-то подозрительными, похожими на хрящи, обрывками. Семеныч посмотрел в кастрюлю, хмыкнул, и с глухим, резким стуком закрыл её тяжелой металлической крышкой. После чего убрал кастрю-

лю в темный, непрозрачный навесной шкаф, с треском захлопнув дверцу.

Этот стук крышки отозвался в сознании Кирилла настоящим взрывом.

Внутри него мгновенно, с яростным щелчком сработал старый, неизлечимый бзик — его персональный триггер, его проклятие, его личный ад, который он носил с собой пятнадцать лет. У Кирилла был панический, иррациональный, доводящий до липкого пота страх перед закрытыми кастрюлями, пустыми посудинами и спрятанной, невидимой едой. На его личной полке в жилом модуле все коробки с галетами, все банки со сгущенкой всегда стояли исключительно вскрытыми, с отогнутыми металлическими крышками, выставленные в ряд, на виду. Ему жизненно необходимо было ежесекундно видеть, что еда есть. Что она доступна. Что она не спрятана, не заперта, что за нее не нужно будет драться, вырывать из чужих рук...

Когда Семеныч прятал посуду или закрывал крышки, у Кирилла внутри начинала выть невидимая, оглушительная сирена. Разум заволакивало багровой пеленой. Ему казалось, что если еду закрыли, она исчезла навсегда. И тогда... тогда вернется он. Тот самый Голод из ноября две тысячи одиннадцатого года, когда в занесенном бураном «Восходе-4» они, обезумевшие дети, сидели вокруг пустых котелков, и взгляды их старших товарищей постепенно становились оценивающими, плотоядными. Тогда, когда еда закон-

чилась, и пришлось платить за тепло. Тогда, когда Матвей взял в руки нож. Тогда, когда Алина разожгла костер. Тогда, когда Кирилл тянул жребий.

Кирилл резко повернулся от окна. Его дыхание стало частым, прерывистым. Пальцы так сильно сжали кружку, что по старой керамике поползла тонкая, едва заметная трещина, и горячий кофе обжег ему кожу, но он не почувствовал боли.

— Открой, — хрипло, с трудом сдерживая подступающую истерику, выдавил из себя Кирилл.

Семеныч, уже собиравшийся выйти из кают-компания, остановился в дверях и медленно обернулся. Его густые брови сошлись на переносице, образуя сплошную волосатую линию, похожую на гусеницу.

— Чего? — переспросил старик, прищулив глазки.

— Открой кастрюлю, Семеныч, — Кирилл сделал шаг к столу. Его голос дрожал, в нем проступали безумные, умоляющие и одновременно опасные нотки, те самые нотки, которые он слышал в собственном голосе пятнадцать лет назад, когда просил у Матвея еще одну «долю». — И шкаф открой. Не надо закрывать. Пожалуйста. Пусть стоит открытым.

Семеныч несколько секунд молча смотрел на него. В его взгляде не было ни сочувствия, ни понимания — только холодное, клиническое любопытство, с которым энтомолог разглядывает редкого жука, прежде чем приколоть его булавкой к картонке. А затем его лицо исказила презрительная,

жесткая усмешка. Он покачал головой, и в его взгляде мелькнуло что-то похожее на брезгливость, смешанную с торжеством. Он любил находить слабости у других, это давало ему суррогат власти в этом замкнутом, Богом забытом месте.

— Да ты точно ебанулся, Крупа, — тихо, с наслаждением произнес старик, и каждое слово было как плевок. — Со всем кукуха потекла от темноты-то? Суп скиснет, если его открытым держать, придурок. И шкаф я закрою, потому что из него сквозняком тянет. Хватит мне тут свои тюремные замашки устраивать. Иди лечись, метеоролог хренов.

Семеныч развернулся, демонстративно хлопнул дверью кают-компания и ушел по галерее в сторону дизельного отсека, тяжело топая своими огромными сапогами. Топот его удалялся, затихал, но Кириллу казалось, что этот топот будет звучать в его голове до конца жизни.

Кирилл остался один посреди гулкой, пахнувшей прогорклым жиром комнаты. Удары сердца отзывались в его висках тяжелыми, кузнечными ударами. Он подошел к навесному шкафу, его руки тряслись так, что он не сразу попал пальцами по пластиковой ручке. Он рванул дверцу на себя, вытащил кастрюлю, сорвал с нее крышку и бросил её на пол. Крышка покатилась по линолеуму со зловещим, дребезжащим звоном, который показался Кириллу криком замерзающего в тайге ребенка.

Он уставился на серую, подернутую слоем застывшего жира поверхность супа. Еда была здесь. Она была открыта. На

секунду сирена в его голове утихла, сменившись удушливым, позорным стыдом. Кирилл упал на стул, закрыл лицо грязными от кофе ладонями. Его плечи судорожно вздрагивали. Слез не было — они давно кончились, выжженные тем, ноябрьским морозом.

Сенсорная депривация доедала остатки его рассудка. Полярная ночь за окном Шпицбергена медленно, но верно снимала с него кожу слой за слоем, обнажая то, что он так тщательно прятал — гнилое, кровоточащее нутро выжившего монстра. Он понимал, что долго так не протянет. Что Семеныч прав — он сходит с ума. Но самым страшным было не безумие. Самым страшным было то, что воцарившаяся вокруг него вечная, ледяная темнота была абсолютно, пугающе похожа на ту, из его детства. И эта темнота постепенно начинала подавать голос.

Где-то далеко, за тройными стеклами иллюминатора, завывал ветер. И Кириллу показалось, что в этом вое он слышит не арктическую метель, а детский плач — тонкий, жалобный, захлебывающийся. Плач того, кого они не пустили к костру. Плач того, чью «долю» они съели, чтобы пережить еще одну ночь.

Кирилл поднял голову. В иллюминаторе, за пеленой летящего снега, ему на секунду показалось, что он видит лицо. Маленькое, детское, с запавшими глазами и черными, как угольки, зрачками. Лицо того, кого он предал пятнадцать лет назад.

Он моргнул. Лицо исчезло. Остался только снег, темнота и вечность.

КОНЕЦ ГЛАВЫ 1

Глава 2. Сигнал из темноты

Циклон, о котором предупреждали синоптики из Лонгйира, наползал на Шпицберген подобно колоссальному живому существу — неповоротливому, слепому и абсолютно безжалостному. Барометр в кают-компании, этот старый советский прибор в латунном корпусе, который Семеныч привез еще в девяносто первом, вел себя так, словно сошел с ума: его стрелка не просто падала, она буквально валилась вниз, преодолевая критические деления с пугающей скоростью, словно кто-то невидимый давил на нее огромным, холодным пальцем. Станция «Баренц-2» глухо, утробно стонала. Металлические гофрированные галереи, связывающие жилой модуль с рабочими отсеками, вибрировали от напора ветра, и этот низкий, непрекращающийся гул проникал сквозь черепную коробку, оседая где-то в подкорке гнилым, липким чувством тревоги. Кирилл стоял у иллюминатора и смотрел, как темнота за окном сгущается, превращаясь в нечто осязаемое, почти плотное. Снег больше не падал — он летел горизонтально, бешеными, рваными зарядами, словно кто-то швырял в станцию пригорстями битое стекло. Прожектор на мачте, тот самый, что вчера еще резал ночь желтым, жирным лучом, теперь беспомощно барахтался в этой белой, ревушей стене, и его свет вяз в метели, как муха в паутине. Видимость упала до нуля. До десяти метров. До пяти. До рас-

стояния вытянутой руки. Семеныч стоял в тамбуре, натягивая тяжелые, пахнущие застарелым потом и дегтем ходовые унты. Его грузное тело, затянутое в брезентовую штормовку, казалось втиснутым в узкое пространство прохода, и Кириллу на секунду показалось, что старик не собирается выходить наружу, а собирается застрять здесь навсегда, превратиться в еще одну деталь интерьера, в еще один ржавый болт на этой проклятой станции. Лицо старика, изрезанное глубокими морщинами, выражало угрюмую сосредоточенность. На Севере глупые люди не выживали, а Семеныч зимовал здесь уже тридцатый год. Он слишком хорошо знал, что такое арктический буран, когда видимость падает до расстояния вытянутой руки, а морозный воздух за секунды выжигает альвеолы, и ты начинаешь кашлять кровью, которая замерзает на губах, превращаясь в красные кристаллы. — Так, Крупа, слушай сюда, — Семеныч повернул к Кириллу свое обветренное, заросшее седой щетиной лицо. В его маленьких, слезящихся от вечного сквозняка глазах сквозило привычное, едва заметное пренебрежение, смешанное с чем-то новым, чего Кирилл раньше не замечал. Может быть, это была осторожность. Может быть, это было то самое холодное любопытство, с которым врач смотрит на пациента, у которого только что проявились первые симптомы неизлечимой болезни. — Я пойду сделаю обход. Надо внешние датчики вечной мерзлоты проверить и продублировать крепления на метеомачте. Если этот ураган сорвет анемометр, нас из Мур-

манска сожрут с потрохами. Ты остаешься на радию. Понял меня? Из рубки — ни ногой. Следи за частотой аварийного канала. Если норвежцы из Баренцбурга или наши с Пирамиды начнут запрашивать переключку — фиксируй время. Кирилл кивнул, но его тело не слушалось. Оно было ватным, чужим, словно кто-то вынул из него все кости и заменил их на свинцовые трубки. Ему не хотелось оставаться одному в этой звенящей, замкнутой коробке, где каждый шорох казался предвестником катастрофы. Но и выходить в этот ледяной ад, где только что, на цистернах, ему почудился странный, пугающий стук — будто кто-то бил железной ложкой по дну пустого котелка — было невыносимо.

— Может, мне пойти с тобой? — тихо спросил он. Его голос прозвучал как-то тускло, почти безжизненно на фоне завывающего за стеной ветра. Он сам не узнал своего голоса. Он звучал так, как звучал голос того мальчишки пятнадцать лет назад, когда он просил не закрывать дверь подвала. — Куда тебе, пойти... — Семеныч пренебрежительно сплюнул в угол настила, и плевок упал на ржавый пол с тихим, отвратительным чпоком. — Тебя сопля с носа перевесит, Крупа. Сиди на жопе ровно, грей чайник. Я через полчаса вернусь. Главное — радию карауль. Шторм такой, что волна может поплыть, надо будет шумоподавление вручную крутить. Ты же у нас специалист. — В этих последних словах прозвучала такая ядовитая ирония, что Кириллу захотелось схватить тяжелый огнетушитель со стены и размозжить старику голо-

ву. Но он не сделал этого. Он никогда не делал того, что хотел сделать. Он только смотрел. И считал. Старик натянул на лицо огромные очки, закрепил карабин страховочного линия на пояском ремне и с тяжелым металлическим лязгом открыл внешнюю гермодверь. В тамбур мгновенно ворвался бешеный, свистящий вихрь колючего снега. Воздух в секунду поледянял, изо рта Кирилла вырвалось густое облако пара, которое тут же превратилось в ледяную крошку и осыпалось на пол. Семеныч сделал шаг в белую, ревущую пустоту, и дверь с глухим, резиновым стуком захлопнулась за ним, отрезая жилой блок от остального мира. Кирилл остался один. Тишина, воцарившаяся в жилом модуле после ухода старика, была неестественной. Она не успокаивала — она давила на уши, как это бывает на большой глубине, когда ты ныряешь в ледяную воду озера и чувствуешь, как барабанные перепонки впиваются внутрь, словно пытаешься дотянуться до мозга. Гул дизель-генератора за тремя переборками казался теперь ударами далекого, гигантского сердца, которое медленно останавливалось. Кирилл медленно прошел по узкой, темной «кишке» перехода в рубку связи. Это было крошечное помещение, до самого потолка забитое приборами: серые металлические шкафы радиостанций, мигающие блоки бесперебойного питания, сплетения толстых черных кабелей, похожих на замерзших змей, которые вот-вот оживут и бросятся на него. Здесь пахло нагретой пластмассой, озоном и старой, сухой пылью — запахом места, где время

остановилось и начало разлагаться. Он сел на жесткий крутящийся стул перед главным пультом. На панели тускло светился зеленый экран коротковолновой КВ-рации. Динамик издавал ровный, монотонный, шипящий звук пустой частоты — белый шум, похожий на шелест сухой листвы или шорох миллионов песчинок, пересыпающихся в песочных часах. Этот звук обычно убаюкивал, но сейчас он заставлял нервы Кирилла натягиваться, словно струны, готовые лопнуть от малейшего прикосновения.

Он положил ладони на металлический стол. Руки были холодными, пальцы мелко дрожали. Он попытался заглушить это чувство, вспомнив свою привычную дыхательную гимнастику — вдох на четыре счета, задержка, выдох... Но это не помогало. Внутри него, глубоко в груди, разрастался холодный, склизкий комок паранойи. Многие думают, что самый страшный монстр — это тот, которого твой разум дорисовывает в темноте. Но для Кирилла кошмар был вполне осязаемым. Он имел конкретную дату и место. Ноябрь 2011 года. Закрытый поселок «Восход-4». Эвенкийский автономный округ. Место, где они совершили свой общий грех. Место, где они заплатили за тепло. Место, где они научились считать. *Раз, два, три, четыре, пять...* — считал он про себя, пытаясь успокоиться. *Шесть, семь, восемь, девять, десять...* Но счет не помогал. Счет был тем самым инструментом, который они использовали тогда, в подвале, когда распределяли «доли». Когда Матвей, их «доктор», доставал

свой нож и говорил: «Сейчас посчитаем. Сейчас решим, кто сегодня работает». И Кирилл, самый младший, самый худой, самый пугливый, считал. Потому что если он не будет считать, он сойдет с ума. Потому что цифры — это порядок. А без порядка... без порядка придет Голод. Вдруг белый шум в динамике изменился. Это произошло резко, без всякого перехода. Ровное шипение разорвалось сухим, хлестким щелчком статики, и Кирилл вздрогнул так, что его спина мгновенно покрылась испариной, а футболка прилипла к коже, словно он окунулся в ледяную воду. Зеленый светодиод уровня сигнала на панели прыгнул вверх, замигал, словно захлебываясь от неожиданного притока энергии.

— Баренц-2, на связи Баренцбург... — прошептал Кирилл, пытаясь убедить самого себя в том, что это просто обычный рабочий вызов. Он протянул руку к тангенте микрофона, чтобы ответить, но его пальцы замерли в нескольких сантиметрах от пластиковой коробки. Что-то внутри него кричало: не трогай. Не отвечай. Это не норвежцы. Это не наши. Это что-то другое. Из динамика донесся звук. Это был не человеческий голос. Это был ритмичный, размеренный, пугающе знакомый стук. *Тук. Тук. Тук.* Звук был сухим, металлическим. Будто кто-то там, на другом конце невидимого провода, держал включенным микрофон и методично, с равными интервалами бил железной ложкой по дну пустого котелка. Этот звук транслировался с ужасающей четкостью, сквозь тысячи километров арктического шторма, сквозь глу-

шилки и снежные заряды. У Кирилла перехватило дыхание. Перед его глазами поплыли багровые круги. Этот стук... Господи, этот стук он слышал во сне каждую проклятую ночь на протяжении пятнадцати лет. Это был стук, который созывал их, голодных, обезумевших от страха подростков, к костру в подвале сибирского сельсовета. Стук, который означал, что жребий брошен. Что Матвей закончил свою «работу». Что можно идти за «долей». — Прекрати... — сорвалось с разбитых губ Кирилла. Его голос прозвучал как жалкий, испуганный писк, как визг загнанной крысы. — Прекрати, это просто наводка. Это просто помехи...

Стук так же внезапно прекратился. В эфире снова повисла тишина, но это была не мертвая тишина пустой волны. Кирилл отчетливо слышал сквозь динамик чужое дыхание. Оно было тяжелым, хриплым, с характерным свистом в легких, какой бывает у человека, который долго пробыл на лютом морозе. Человек на том конце радиомоста дышал прямо в мембрану микрофона, медленно, удушающе близко, и Кириллу казалось, что этот человек стоит прямо за его спиной, дышит ему в затылок, и сейчас положит ему на плечо холодную, мертвую руку. А затем среди статического треска раздался детский плач. Это был тонкий, жалобный, захлебывающийся всхлип. Плакал ребенок — маленькая девочка, испуганная, замерзающая в темноте. Звук был настолько реальным, настолько осязаемым, что Кириллу показалось, будто эта девочка сидит прямо здесь, в углу рубки связи, за сер-

верными стойками, поджав под себя обмороженные колени. Этот плач заставил все волоски на его теле подняться дыбом. Его кожа покрылась крупными мурашками, а к горлу подступила липкая, горькая тошнота.

— Нет, нет, нет... — Кирилл зажал уши руками, зажмурился до боли, но звук пробивался сквозь его пальцы, транслируясь прямо в мозг, в те самые отделы, где хранились воспоминания, которые он так тщательно прятал. — Это не реально. Это галлюцинация. Это просто мозг играет со мной... Плач оборвался, сменившись глубоким, судорожным вздохом, и из динамика полился голос. Это был голос, который Кирилл надеялся никогда больше не услышать в этой жизни. Голос, который должен был быть похоронен под тонами пепла и сибирского снега. Голос, который он слышал в ту ночь, когда они поняли, что еды больше нет, и единственный способ дожить до весны — это... — Раз, два, пришла беда... — запел голос. Он был тихим, монотонным, лишенным каких-либо человеческих эмоций. Так поют дети, когда играют в прятки, или так шепчут безумцы в полузабытьи. — Три, четыре, запри двери... Кирилл побледнел настолько, что его лицо стало неотличимо от цвета известки на переборке. Глаза его расширились, зрачки превратились в две крошечные угольные точки. Весь мир вокруг него перестал существовать. Не было больше Шпицбергена, не было зеленой станции, не было Семеныча, ушедшего в буран. Была только эта старая, жуткая считалочка, которую в но-

ябре две тысячи одиннадцатого года знали всего шестеро. Шестеро выживших детей из «Восхода-4». Эту считалочку придумала Алина в ту самую ночь, когда они поняли, что припасы кончились, что взрослые погибли в стычках за еду, что они остались одни, и что единственный способ пережить эту ночь — это закрыть двери подвала и... — Пять, шесть... — продолжал шептать голос из рации, постепенно набирая силу, становясь более близким, более осязаемым. — Пять, шесть... хочет... На полуслове сигнал резко, словно обрезанный огромными ножницами, оборвался. Зеленый светодиод на панели радиостанции мгновенно погас. Из динамика снова хлынул ровный, равнодушный, шипящий поток белого шума. Кирилл сидел неподвижно, его руки медленно сползли с ушей и упали на колени, как две перебитые плети. Он не мог дышать. Грудь сдавило стальным обручем, а в ушах продолжал звенеть этот тихий, монотонный детский шепот. «Запри двери... хочет есть...»

Это не могло быть совпадением. Радиоволны не хранят воспоминания. КВ-диапазон не умеет транслировать чужие кошмары. Кто-то там, за пределами этой ледяной пустыни знал о его прошлом. Кто-то знал, кем он был до того, как стать Кириллом Крупновым, тихим метеорологом без прошлого. Кто-то знал про ту считалочку. Про тот подвал. Про тот костер. Про ту ночь, когда они закрыли двери и... "Мы просто хотели выжить" — шептал его внутренний голос, но этот голос звучал уже не как оправдание, а как скрежет зу-

бов. "Мы не виноваты. Это все Голод. Мы просто закрыли двери, чтобы выжить." Но кто-то не согласен с этой версией. Кто-то помнит всё. Кто-то помнит, как они тянули жребий. Как они считали. Как они распределяли «доли». Кто-то помнит, что они не просто выжили — они заплатили за тепло. Они заплатили за костер Алины. Они заплатили за работу Матвея. Они заплатили за тишину Кирилла. Кто-то пришел за ним. За стеной, во внешнем мире, с новой силой завыл ураган, и Кириллу показалось, что в этом вое он отчетливо различает торжествующий, безумный смех. Смех тех, кого они не пустили к огню. Смех тех, чью «долю» они съели. Смех тех, кто теперь пришел забрать свое. Кирилл медленно поднял голову. В иллюминаторе, за пеленой летящего снега, ему на секунду показалось, что он видит лицо. Маленькое, детское, с запавшими глазами и черными, как угольки, зрачками. Лицо того, кого они предали пятнадцать лет назад. Он моргнул. Лицо исчезло. Остался только снег, темнота и вечность. КОНЕЦ ГЛАВЫ 2

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.